

Мстислав Ростропович:

Наконец-то я получил российский орден

Известия 9. - 1994 - 24 мая - с 6

Московская часть мирового чествования юбилея подтвердила, что великий виолончелист остается самой притягательной фигурой

в отечественной культуре. Личностью, которой всегда есть что сказать журналисту и президенту, коллеге и королю («они ведь тоже лю-

ди», как любит повторять музыкант). Мы предлагаем монолог Ростроповича на встрече, которая состоялась в эти дни в ИТАР—ТАСС.



Фото ИТАР—ТАСС.

О наградах

У меня есть 28 государственных наград разных стран, но первый орден за всю мою жизнь здесь получил лишь сегодня «За заслуги перед Отечеством» II степени, самый достойный орден России. Несмотря на огромное количество юбилеев, музыкальных и политических, проходивших на моем веку, я не скупился на одного советского ордена. Правда, есть две медали, которые я исключительную цену: За победу над Германией я удостоился ее за то, что, будучи еще мальчишкой, находясь в эвакуации, играл все время в госпиталях для наших воинов. А вторая — «Защитнику свободной России» за участие в обороне Белого дома в августе 91-го года.

О Солженицыне

Должен сказать, что я абсолютно не политический деятель. Меня сделали им, и это было связано с Александром Исаевичем Солженицыным. Как я с ним познакомился? Очень просто. Я прочитал «Один день Ивана Денисовича», а после этого у меня был концерт в Рязани, и я решил познакомиться с ним и поговорить. Когда я поступил в квартиру, открыла пожилая женщина и сказала, что его нет дома. Я воскликнул: как жаль, он вчера приходил на мой концерт. И тогда Солженицын выскочил «из засады», и мы провели вместе несколько часов, после чего он сказал: «У вас такой интересный русский язык, полный метафор. Вы не протестуйте, если буду в Москве и просто загляну к вам». Я был счастлив. Он потом несколько раз заезжал, и мы понимали друг друга очень хорошо.

Однажды мне позвонила по телефону Лидия Корнеевна Чуковская: «Если вы любите Солженицына, то знайте — он погибает. Солженицын находится в жутком состоянии у себя на садовом участке на 83-м километре Можайского шоссе».

Была поздняя осень, было очень холодно. На садовых участках стояли маленькие кибиточки для хранения инвентаря. Законом запрещено было там ставить отопление. Ни одной живой души, все заколочено, кроме одной такой кибиточки-избушечки, в которой он лежал, как капуста, закрытый бешкетом, и еще чем-то. А поскольку у меня была свободная квартира, которую я построил уже по другим мотивам, для других людей, я сказал ему: «Если тебе тут так плохо и холодно, то приезжай ко мне». Он и приехал ко мне. А после этого выяснилось, что он «антинародный» и «негодяй». Два министра — Фурцева и Щелочков советовали мне и Вишневу выгнать Солженицына на улицу. Я ответил, что этого не было и не будет.

Вот так все начиналось. Я не знаю, это считать политическим

шагом или человеческим. Тогда и меня сделали врагом народа, лишили с Галиной гражданства с формулировкой за деятельность, наносящую ущерб престижу Советского Союза. Значит, каждой нотой, которую я играл или дирижировал, я наносил ущерб престижу Советского Союза?

О кумирах

Я приехал в августе 91-го года Белый дом и демократию защищать, потому что хорошо помнил страдания моих двух кумиров и идиологов — Шостаковича и Прокофьева. Прокофьев мне как-то сказал, когда мы жили на Николиной горе: «Слава, у меня нет денег на кухарку и завтрак». И я поехал к Тихону Николаевичу Хренникову: «Если вы не дадите сейчас какую-нибудь сумму Прокофьеву, то я пойду к студентам и начну по 20 копеек собирать ему на еду». Тихон Николаевич вызвал какого-то заместителя и сказал: «Дайте 500 рублей Прокофьеву». Я это до сих пор помню. Помню, что и у Шостаковича в иные времена не было на еду. А ведь это гений номер один в музыке двадцатого века.

Из-за себя я почему-то ни на кого зла не имею, так суждено было, такая партитура была написана Господом. Но за Прокофьева и Шостаковича, Пастернака, Ахматову, Зощенко я не могу простить тех людей.

О Сахарове

Я очень хорошо знал Сахарова по даче в Жуковке. Там было два музыканта — Шостакович и я, все остальные — ученые, которые в свое время сделали атомную бомбу. Дачи были построены пленными немцами и подарены Сталиным атомщикам. Одним из тех ученых, отцом нашей бомбы был Сахаров. На моих глазах происходило, как трижды Герой Соцтруда из-за своей совести лишил себя всех своих привилегий. Мы стали встречаться в магазине, где вместе стояли в очереди за картошкой. Потом к нам присоединился Шепилов, бывший министр. Так мы иногда стояли втроем — Сахаров, Шепилов и я за картошкой.

Сахаров был человеком святым. Когда его сослали в Горький, я снял за свои деньги один из лучших парижских залов, позвал всех своих друзей в течение дня играть музыкальный марафон в поддержку Сахарова.

О концерте у Берлинской стены

Я был в Париже, когда вечером раздался звонок от одной знакомой, адвоката: «Включи телевизор, немедленно!» и повесила трубку. Я, конечно, побежал включать телевизор, что вначале увидел, ничего понять не мог. Какие-то люди стоят на платформе, обнимаются, открывают шампанское, потом тянут за руки снизу кого-то на эту

платформу. Когда я понял, что это рушится Берлинская стена, у меня полились слезы. Потому что она была для меня символом, разделяющим две мои жизни: невозвратную жизнь в Советском Союзе до 47 лет, и вторую, нынешнюю, и никак они не могли соединиться, потому что лишенных гражданства никогда при жизни домой не пускали.

Недавно я узнал, что «Аэрофлоту» было спущено указание: если Ростропович решит приехать в Советский Союз — не продавать ему билет. В тот вечер я звоню одному своему другу: слушай, у тебя есть самолет, дай на утро, я должен прилететь в Берлин. А воздушный коридор в Берлине был закрыт для частных самолетов, нужно было с четырьмя комендатурами согласовывать этот вопрос. Всю ночь они согласовывали и согласовали таким образом, что я полетел в Берлин, никого там не предупреждая.

Когда мы вышли из самолета, мой друг Антуан говорит: «Ну а что дальше?» Я говорю, возмем такси и поведем к стене. Поехали. А когда я подошел к стене с виолончелью, то понял только одну ошибку, которую совершил в своей музыкальной жизни, — без стула я играть не могу. На стену сесть нельзя — высоко... Я пошел в какой-то дом одолжить на полчаса стул, а хозяйка так вопросительно посмотрела: не Ростропович ли я? На что я ответил утвердительно, и за стулом вместе со мной сразу пошли человек 20.

Я играл тогда как благодарность Богу (не хотел даже, чтобы это кто-нибудь слышал) за то, что когда-нибудь мои две жизни могут соединиться. Это был первый знак, что рубец на моем сердце начал с каких-то краев заживать.

Когда мне говорят, что я политик, я отвечаю, что политической не занимаюсь. Я считаю, что политической достаточно занимаются люди, чтобы сделать себе карьеру, что мне совершенно не нужно, либо потому, что политика является их профессией. Все свои общественные акции я могу объяснить лишь своими порывами и своими желаниями.

О контракте дирижера

После того как я прекратил контракт в Вашингтоне, я счастлив. Там я был обязан, как главный дирижер Национального симфонического оркестра, делать программу на год, отвечать за материальное благополучие оркестра. Должен был после каждого концерта участвовать в банкететах, которые давали всякие организации, например какой-то женский клуб, в котором все женщины богачки, в возрасте примерно между 70 и смертью. На концертах они обычно спали, чтобы сэкономить силы для приема потом.

Я должен был посвятить

часть своего времени изучению американской партитуры, давать большой процент американской музыки. Я считал, что этот процент был для меня лишним, потому что я знаю, что есть замечательная американская музыка, есть великие американские композиторы, и дело не в пропорции... Поэтому сейчас я очень рад, что делаю в музыке то, что считаю нужным.

О наших музыкантах за границей

Очень сложная тема. Было у нас закрытое общество, «железный занавес». Посылали за границу только тех, кто мог достойно представить Советский Союз. Искусство СССР за границей тогда имело оглушительный успех, было главным оружием пропаганды советской системы. Сначала, скажем, посылали Балет Большого театра, потом, чтобы оглушить еще раз, посылали моисеевский ансамбль, а после уж Давида Ойстраха, Эмиля Гилельса, некоторых других посылали. Сейчас положение вещей такое, что может ехать каждый, кто захочет, и искать себе возможность выступления.

Вот, например, в Париже с 1 по 15 октября будет проведен 6-й Международный конкурс виолончелистов моего имени, который проходит раз в четыре года. Раньше, конечно, вообще не посылали участников, как к врагу народа, а на два последних конкурса приезжают наши музыканты, но приезжают они за свои деньги, не проходя дома соответствующего отбора, который считается недемократичным, что ли. К сожалению, по моему инструменту дальше второго тура они не проходили. Кто имеет деньги, тот и едет, а может, именно тот, кто хорошо играет, не имеет возможности выехать.

Когда говорят о престиже нашего искусства за рубежом, я должен сказать, что он не повысился с тех пор, когда была другая система, не повысился потому, что каждый устраивается, как может. Меня просят сотни людей, чтобы я написал приехавшим из России музыкантам рекомендательные письма. Как я вам могу дать рекомендацию, когда я вас никогда не слышал? Все хотя где-то устроиться, получить кусок хлеба, и в этом нет ничего драматичного, надо учиться и жить, и выживать.

О критиках и критике

Я считаю, что наши газеты порой допускают нетерпимый, хамский тон по отношению к людям, которые уже сделали какой-то вклад в жизнь. Я, например, Солженицына никогда не предаю, считаю его для себя настоящим, истинным другом. За вклад людей надо уважать, даже если сегодня они работают с меньшей активностью.

Я часто вспоминаю композитора Сибелиуса, который пос-

ледние тридцать лет не сочинил ни одной ноты и, может быть, этим спас свою репутацию, никто не называл его отсталым, ретроградом. Но все тридцать лет его читали не только страна Финляндия, но и весь мир. То, что сделал Солженицын, открыв глаза нам и Западу своим «Архипелагом...», уже достойно вечности, а еще лучше — человеческого уважения.

Когда критикуют меня, не обижаясь, просто делаю выводы, если считаю что-то справедливым. А иногда меня просто обкладывают, как хотят, и ничего. Я просто не запоминаю имен тех, кто пишет обо мне гадости. Потому что если запомню, то буду думать об этом, а так чего запоминать. Встречу человека, он мне скажет, что фамилия его, допустим, Петров, я и поцелую его. А если буду помнить, что это тот самый Петров?

Критикуйте кого хотите, но помните всегда о тоне. Я чаще бываю за границей, чем здесь, и знаю реакцию на целый ряд материалов о президенте. Оглушительное, бездумное охаивание там считается бескультурьем, отчаянным проявлением хамства.

Об отпуске

У меня до 2000 года каждый день расписан и занят. И я лично не пытаюсь делать себе организованный отдых. Первый раз я взял отпуск три или четыре года назад. По приглашению греческого правительства приехал со всей своей семьей, с домработницей и двумя собаками на остров Крит. Первые три дня мне понравилось, но уже на четвертый день я не знал, куда себя деть. Ничего отвратительнее в своей жизни не помню. Теперь, думаю, до смерти в отпуске больше не буду.

О творческих планах

Я сейчас начал планировать 2000 год с того, что меня пригласил Чикагский оркестр сделать цикл Шостаковича, практически повторить фестиваль, который я организовывал этой зимой в Санкт-Петербурге. А до этого сделаю тот же цикл в Токио. Буду дирижировать в Лондоне одиннадцатую симфоническими концертами, тоже посвященными Шостаковичу, но выстроенными по хронологическому принципу.

Я люблю оперу, буду готовить премьеру «Ивана Грозного» Сергея Слонимского, которая состоится в январе 1999 года в Самаре в оперном театре. Есть конкретный план постановки «Мазепы» Чайковского в «Ла Скала» со Львом Додиним. Ну, конечно, как говорил Толстой, «Е.Б.Ж.» — если буду жив.

Публикацию подготовили Игорь ВЕКСЛЕР, ИТАР—ТАСС, Ядвига ЮФЕРОВА, «Известия».

Ростроповичи Мстислав Леопольдович
24.05.94.